

П. С. УВАРОВА

БЫЛОЕ
ДАВНО ПРОШЕДШИЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ



*Издательство выражает благодарность
Государственному Историческому музею
Издательскому центру «Москвоведение»*

Под редакцией
Л. Заковоротной

Научный редактор
кандидат исторических наук М. Бастракова

Вступительная статья
М. Бастракова
Л. Заковоротная

Комментарии
М. Бастракова
Н. Стрижова

Научный консультант
доктор архитектуры Л. Рапутов

Уварова П.С.

Былое. Давно прошедшие счастливые дни. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 2005. — с. 296.

ISBN 5-8242-0090-4

Прасковья Сергеевна Уварова (1840 – 1924) – археолог, почетный член Петербургской АН, профессор Дерптского университета. В 1859 г. вышла за графа А.С. Уварова, известного ученого, основателя Московского Археологического общества (МАО) и Российского Исторического музея. Супругов соединяли не только общие семейные заботы, но и интересы науки, культуры, общественной жизни. После кончины мужа (1884) графиня возглавила МАО.

Автор «Былого» рассказывает о родителях (князя Щербатовы), совместной с А. С. Уваровым научной деятельности, встречах со знаменитыми современниками – А.И. Герценом, Э. Ренаном, Л.Н. Толстым. Существует предположение, что именно с Уваровой Лев Толстой писал образ Кити Щербацкой в романе «Анна Каренина». Значительное место уделено земской деятельности Уваровых, истории Московского Археологического общества. Воспоминания охватывают период до 1918 г., когда графиня Уварова была вынуждена эмигрировать из России.

Текст воспоминаний сопровождается подробными комментариями. Печатается с одобрения правнука П. С. Уваровой – князя С.С. Оболенского.

ISBN 5-8242-0090-4

© Издательство им. Сабашниковых, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю

5

П.С. Уварова и ее воспоминания

7

Былое. Давно прошедшие счастливые дни

19

Комментарии

211

Указатель имен

284

О России родной, оскверненной,
Я тоскую в чужой стороне.
О прекрасной, святой, угнетенной,
Неоглядной ее ширине.
О напевах глухих колокольных
Над реками в вечерней тиши,
О полях бесконечных, раздольных,
О лесной чародейной глуши.
И о первом кружащемся снеге,
И о зимнем пленительном сне,
Лета быстрого трепетной неге,
И о северной, милой весне.
О певучей, приветливой речи,
О родимой, далекой Москве,
О часовнях, где теплятся свечи,
Буйном ветре в зеленой траве.
Свежем запахе моря, полыни,
Дикой удали в шири степной,
Божьих людях, идущих к святыне
Монастырскую тихой тропой...
Об усадьбе в приволье зеленом,
Где печально живут старики,
О беседке с серебряным кленом,
О меже, где рвала васильки.

Вера Суханова

II

Отец мой, князь Сергей Александрович Щербатов¹, был сын князя Александра Александровича Щербатова² от второго его брака с княжной Прасковьей [Сергеевной] Одоевской³. Деда я не застала в живых, но бабушку хорошо помню, потому что все окружающие мне постоянно ставили в пример ее деятельность и доброе ко всем расположение. Оставшись по смерти мужа еще молодой вдовой с небольшими средствами, она вся отдалась заботам о воспитании и благосостоянии оставшихся после мужа четырех дочерей и одного сына, который, по обычаю того времени, был записан с молодых лет в полк и со временем в 18[31] году, принимал участие во взятии Праги⁴ в роли адъютанта графа Паскевича⁵. Дочери ее вышли замуж: Елизавета за Савича, старший сын которой, Вениамин⁶, пользовался общим уважением и серьезно занимался поместным дворянством и крестьянством, Прасковья⁷ за однофамильца по другой линии из щербатовского рода, Наталья за барона Михаила Карловича Розена и младшая, Анна, красавица и любимица всех, за незаконного сына великого князя Константина Павловича⁸ Павла Константиновича Александрова⁹. Приведя в известность свое достояние, бабушка разделила его между детьми, оставив себе маленький уголок, прозываемый «Городище»,

вероятно потому, что оно занимает угловую часть высокого кряжа, царящего над обширной равниной, в пределах которой находятся имения остальных членов семьи. Сын, т.е. мой отец, получил часть имения, прозываемую «Бобрики» по берегу незначительной речки. После заключения мира, или вернее после прекращения военных действий, он покинул военную службу, решил жениться и устроить свою жизнь в Малороссии, где провел свое детство, по соседству с оставшейся после выхода замуж дочерей совершенно одинокой матерью. Молодому красавцу гвардейцу предстояла трудная задача: найти жену по сердцу, которая настолько увлеклась бы им, чтобы согласиться покинуть московские светские удовольствия и решиться перебраться в тогда еще совершенно неизвестную ей часть России и приняться с мужем за нелегкую задачу устройства не только всего будущего, но даже и временного житья, так как отец получил имение без усадьбы и должен был откровенно сознаваться, что первые годы придется довольствоваться простой крестьянской избой. Но счастье улыбнулось молодому человеку: на московских балах он очень скоро приметил княжон Святополк-Четвертинских, между которыми, в особенности, пленила его княжна Прасковья Борисовна¹⁰, большая любимица нашего поэта В.А. Жуковского¹¹, друга всей семьи Четвертинских, который прозвал княжну Прасковью «Психеей Борисовной» и настолько отличал ее среди сестер, что, несмотря на его не молодые годы, распространился слух, что она выходит за него замуж. Молодой приезжий князь приглянулся княжне и, несмотря на то что он не скрыл от нее положение своих дел и ожидавшие ее трудности, она повенчалась с ним и молодые покатали в далекую Малороссию, где сперва поселились у старой княгини, потом устроились в Бобриках в крестьянской избе, где и родился их первенец, брат Борис¹², и приступили к заготовке строительного материала и постройке дома и устройству усадьбы.

Устроили собственный кирпичный завод, наняли столяра для выделки оконных рам, дверей и пр., и дом вышел на славу, а так как сами молодые хозяева были и архитекторами, и распорядителями работ, и казначеями, то дом вышел не дорогим и весьма удобным. В некотором расстоянии от него вырос флигель для кухни и прислуги и другие хозяйственные постройки, конюшня и скотный двор, который мечтали со временем заселить молочным скотом и птицею.

Окончивши с постройкой дома, взялись за разведение сада и огорода, которые заняли все пространство между домом и рекой. При его устройстве, планировке, разбивке дорожек и клумб, насаждении деревьев и цветущих кустарников много помогал барон Михаил Карлович Розен, или просто дядя Розен, как мы его называли, — муж сестры Натальи, хороший садовод и любитель природы. Вдоль стен дома насадили настоящий виноград, а по сторонам — итальянские тополя, эту

гордость и красоту нашей Украины. В огороде и частью в саду посажено много сортов яблок, груш-бергамот и слив. Особую прелесть усадьбе придал старый дубовый лес, растущий по ту сторону речки и заканчивающийся темными тонами своей листвы свежую картину усадьбы.

Со временем на противоположной опушке леса выросли сахарный и кожевенный заводы, которые необходимы были отцу для поддержки расходов, которые росли с годами и делались все более необходимыми с подрастанием детей и желанием дать им необходимое воспитание.

Тихо и спокойно жилось в усадьбе, пред которой со стороны двора открывался обширный горизонт богатой цветущей степи, заканчивающейся вправо живописно раскинутой малороссийской деревней, белые хаты которой тонули в зелени фруктовых деревьев. Счастье хозяев состояло главным образом в семейном согласии и тех дружеских и любовных отношениях, которые соединяли всех членов бывшей щербатовской семьи, живших на своих усадьбах в недалеком расстоянии от Бобриков и Городища, занятых своим хозяйством, но не забывающих друг друга и сохраняющих постоянное общение как между собой, так и со старушкой матерью, так умело наделившей всех и сохранившей до последней минуты своего существования интерес ко всем членам семьи как к старшим, так и нарождающимся. Семья наша со временем увеличивалась: состояла она из 9 человек детей (6 сыновей и 3 дочери), из которых только брат Николай и сестра Мария¹³ родились после нашего переезда в Москву. Но, несмотря на многочисленность своих собственных детей, родители мои не затруднились принять в их число племянницу — Александру Розен, о чем просила их, умирая, ее мать, сестра моего отца. Александре или Андине, как ее все называли и называют и до сих пор, было всего 3 года, ровно столько же, как моей сестре Надежде, и она выросла среди нас как родная, так что мы и до сих пор сохранили между собой самые родственно-любвные отношения.

Росли мы все здоровыми и веселыми; нас очень любили и воспитывали просто и строго, приучая к сознанию наших обязанностей по отношению к родителям, воспитателям и окружающим нас служителям и крестьянам. Нам не позволяли особой дружбы и даже игры с крестьянскими детьми или прислугой, но когда требовалось особое присутствие последних, как, например, при весенней уборке сада, огорода и усадьбы, уборке сена и бурелома, расчистке снега после сильной метели, то старшие из нас должны были принимать участие в работах не как распорядители (что, к несчастью детей, допускается даже и теперь во многих знакомых семьях), а как одноплавные со всеми работающими, что всегда производило прекрасное впечатление на всех окружающих и давало нам, детям, возможность знать окружающих нас крестьян, любить и интересоваться их житьем и рабо-

тами и помогать им во время возки их собственного сена, сбора и уборки картофеля и пр.

Важная помощь оказывалась крестьянам нашей матерью во время заболеваний и несчастных случаев. Близко не было ни доктора, ни другой какой помощи, как то существует ныне по деревням; тогда все бежали за помощью на усадьбу; раны и порезы промывались и перевязывались нашей матерью, а если больной не был в состоянии двигаться, то мы носили необходимое лекарство на деревню, объясняли, как его принимать; когда же было необходимо улучшение питания, то старшие из нас носили больному нужное, осведомлялись о его нуждах и приходили с докладом к матери, которая прослыла в околотке отличным, чудодейственным доктором и задушевным человеком. Немалую услугу оказала мать женской половине населения образованием большой мастерской для обучения девушек вышиванию, которое впоследствии дало им хороший заработок, не отрывая от дома и домашних работ.

За учением и развитием детей так же строго следили как мать, так и отец; начинали учение с семи лет, причем уроки по Закону Божьему, обучению грамоте и письму взяла на себя мать; для остальных уроков, т.е. для старших из нас, приглашались учителя из соседних городов, причем старший брат Борис и я составляли старшую группу, от которой требовалась особая усидчивость и успехи, так как отцу хотелось, чтобы брат, окончив гимназию, поступил в Артиллерийское училище и со временем удостоился бы поступления в Военную академию. Для языков при нас состояла m-lle Грап, швейцарка, которая по трудоспособности и направлению очень походила на нашу мать, что облегчило труд воспитания обеим, а нам, детям, принесло огромную пользу. Года два пробыла m-lle Грап в Бобриках и покинула нас только по настоящему вызову старшей сестры и матери. Ее заменила прибалтийская немка Эрнестина Карловна, гораздо менее развитая нравственно и политически, чем дочь вольной Швейцарии, но такая же добрая, честная и исполнительная; она нас, девочек, приохотила к хозяйственным работам, вышиванию, деланию цветов и шитью, а братьев к работам в саду, рисованию, черчению, клейке и вырезыванию, что было очень полезно, в особенности под большие праздники, как Рождество и Пасхальная неделя, когда кроме украшений для елки, на которую приглашалась обыкновенно вся деревенская детвора, необходимо было приготовить подарки для родителей, бабушки и разным тетям и дядям, которые могли приехать на праздники.

Прошли для отца тяжелые годы работ по устройству хозяйства и усадьбы и положения основы воспитания детей, и пред отцом возникла потребность принять участие в общественной деятельности, которая уже давно привлекала его, которую он никогда не упускал из

вида, сознавая ее пользу и необходимость как для дворянства, так и для остальных сословий. В Лебедине (Харьковской губ.), нашем уездном городе, все знали отца как деятельного и распорядительного хозяина, сумевшего заслужить любовь и доверие как окружающего его крестьянства, так и соседнего с ним дворянства, и потому он был избран в 30-х годах уездным лебединским предводителем дворянства, которым состоял до переезда в Москву, оставив по себе хорошую память в губернии и уезде.

Перечитывая строки, посвященные семье бабушки Щербатовой, моему отцу и двоюродному брату Савичу, не могу мысленно не провести параллели между этими скромными деятелями на ниве страны родной и теми велеречивыми проповедниками, которых расплодилось так много за последние годы на несчастной Руси. **Первые**, живя среди крестьянства, умели привлечь его к себе и, разделяя с ним и радости и горе, вносили в его среду и грамотность, и более усовершенствованные орудия, и некоторую потребность к улучшению их быта и обстановки. Устраивались разные мастерские, которые были также полезны помещикам, как и крестьянам; пряли и ткали все необходимое как для мужчин, так и для женщин, как для зимы, так и для лета, и это позволяло всем оставаться дома и не тратить здоровья на фабриках. Все были сыты, здоровы и довольны и жили потому мирно и согласно между собой. **Вторые** же — во имя равноправия, свободы и любви — залили Россию кровью, разорили всех и погубили Россию.

Так шло дело в нашем уютном доме, но мы подрастали, и родители все чаще стали задумываться над необходимостью переехать в Москву для помещения старшего брата в гимназию, по крайней мере в IV класс, и подготовки остальных туда же, дать всем нам возможность более серьезно заняться языками, а мне получить возможность более последовательного занятия музыкой и рисованием. Трудно было родителям решиться оставить свое насиженное гнездо, где все решительно было произведением их рук, любви и умения. Трудно было также покинуть и старушку мать, которая, при своих преклонных годах, могла еще менее думать о выезде из своего Городища, своей Украины, где протекла вся ее жизнь. Первые разговоры о переезде, казалось, не произвели особого впечатления на бабушку, которая иногда даже находила его необходимым для нашего воспитания, но чем ближе наступало время разлуки, тем более стала бабушка относиться к нему враждебно, с горем вспоминала о нем, сожалела, что мы меняем деревню на город, и несколько раз отсрочивала срок, назначенный для отъезда; когда же наступил конец лета, погода изменилась и мой отец, боясь за младших членов семьи, стал просить ее благословить и назначить окончательно день отъезда, она, бедная, затосковала, со дня на день видимо ослабевала, не теряя полного присутствия духа, приступила к последним своим распоряжениям. Родители мои,

понимая и разделяя ее горе, прекратили на некоторое время разговоры об отъезде и запретили даже нам и прислуге произносить неприятное ей имя Москвы. Но все эти предосторожности не спасли добрую старушку, которая со дня на день угасала, но, не теряя присутствия духа, накануне кончины, воспользовавшись обеденным временем семьи, встала с постели, чтобы лично убедиться в зеркале о перемене, происшедшей в ее облике. Услышав шорох в спальне, мы осторожно приоткрыли двери, испугались при виде ее, сидящей на постели, но она спокойно рассказала в чем дело, просила послать за священником; спокойно довольно долго разговаривала с ним, приобщилась, распростилась не только со всеми нами, но и со служащими, благословила всех и тихо отошла в лучший мир.

Шесть недель прожили мы после кончины ее то в Бобриках, то в Городище; в сороковой день помолились над ее свежей могилкой, провели этот день с собравшимися к этому дню родными и на другой день уехали по дороге на Москву на собственных лошадях, как называлось тогда, «на долгих», т.е. на бессменных лошадях, для отдыха которых останавливались то в городах, то на станциях или просто в деревнях, по усмотрению отца или везших нас кучеров. Не помню, сколько дней длилось наше путешествие, но помню, что погода была чудная и что мы, дети, ехали и удобно и очень весело, отдыхая во время жары или в деревне, или на опушке леса, бегая, собирая ягоды и грибы, которые тут же жарились и съедались при общем весельи и убеждении, что мы ничего подобно вкусного никогда не едали.

В Москве остановились на Пречистенке, в доме старого друга отца Г. Мертваго, из которого через год мы переехали в дом того же владельца, но в более обширный и удобный для большой семьи, как наша, и окруженный садиком, который в особенности прельщал нас, детей, выросших в деревне. Дом этот находился в Мертвом переулке, в приходе Успения «на Могильцах»¹⁴, куда мы постоянно и ходили, тем более что местный священник, отец Ипполит, очень скоро сделался нашим законоучителем.

Первой заботой для родителей оказалось приискание хороших учителей и воспитателей для нас всех. Приходящие учителя были приглашены по рекомендации директора гимназии, с которым поспешил отец познакомиться; в воспитатели к старшим братьям поступил швейцарец Сублия, добрый почтенный старик. При младших осталась вышеупомянутая Эрнестина Карловна. Для нас, девочек, приглашена окончившая Николаевский институт¹⁵ хорошая музыкантша Елизавета Даниловна Бендон, которая не только осталась в доме после моего замужества, но до конца жизни считалась преданнейшим другом всей нашей семьи и каждое лето проводила у нас в Карачарове¹⁶.

В Москве мы продолжали жить так же скромно, как и в деревне, так как средства родителей были весьма невелики, а самая скромная жизнь в городе оказалась гораздо дороже, чем в нашем Бобрике, где к нашим услугам были и молочные скопы*, сад и огород и пр. Город предъявлял также иные требования и в житейской обстановке, в мебелировке дома, туалетов и прислуги; мы же все подрастали и, хотя в деревне привыкли к скромности в одежде и пище, но город навязывал свои требования, и мы чувствовали старания родителей по возможности уравнивать расходы с доходами, чтобы самим не должать и приучить детей к тому же взгляду на вещи. Раз принятое направление проводилось родителями очень строго и не скрывалось от нас, детей: мы знали, например, что нас не возят на детские балы принципиально, чтобы не отвлекать от занятий и не развивать в нас слишком рано самолюбие, и что балов у нас самих никогда не будет, так как на это у нас не хватит средств. Все это мы знали, но вместе с тем и хорошо понимали, что если сокращались расходы по вышеупомянутым предметам, то, с другой стороны, не скупилась на оплату лучших учителей как для братьев, так и для нас, девочек. Мы это очень скоро усвоили, жили и росли среди этой обстановки весело и довольные своей судьбой, неся вместе с тем и разные обязанности (присмотр старших за младшими, помощь в приготовлении уроков, занятия с ними по вечерам в неурочное время и пр.), знакомясь с Москвой, ее древностями и святынями, прогулками по ближайшим ее окрестностям весной и летом и посещением добрейших наших деда и бабушки и тетей Четвертинских, всегда к нам ласковых и внимательных во всех отношениях, что давало нам возможность проводить большую часть летних месяцев в имении деда, селе Филимонки в 25 верстах от Москвы.

Были у нас и удовольствия, которые мы очень ценили: в Антипиевском (близ Волхонки) переулке находился огромный квадрат, занятый постройками, обнесенный высокой оградой и называемый Колымажным двором, которым распоряжался дед наш, князь Борис Антонович Святополк-Четвертинский¹⁷. Там хранились золоченные кареты (колымаги), употребляемые при парадных царских выездах, и экипажи, в которых выезжала царская семья во время посещений Москвы, и необходимые для того каретные и верховые лошади с целым штатом служителей, необходимых для ухода как за лошадьми, так и за всем инвентарем двора. При конюшне существовал и манеж для выезда лошадей, и в этом манеже нам, подросткам, дедушка давал уроки верховой езды, которыми мы очень дорожили и гордились, так как учитель наш был очень строгий, но вместе с тем и очень благосклонный к тем из нас, которые удовлетворяли его требованиям. Мне,

* Запасы, склады молочных продуктов.

например, давалась возможность с бабушкой выезжать по утрам за город и пользоваться весной и осенью выезженными лошадьми Коломажного двора и, меняя их довольно часто, привыкать более смело управлять ими.

Первого же мая устраивался дедушкой целый праздник для нас: подавалась четырехместная огромная коляска на высоких круглых рессорах, заложенная великолепной царской четверней, с царским кучером и придворным лакеем на козлах. Дедушка забирал детей, усаживал меня как старшую внучку на почетное место, и мы отправлялись на гулянье в Сокольники, посещаемые в этот день всеми москвичами. По шоссе тянулись в два ряда экипажи; мы же со своей четверней, которую все признавали за придворную, получали право на середину шоссе, обращая на себя внимание и зависть всех, что немало нас занимало и радовало наши детские души. Накатавшись вдоволь по аллеям Сокольников, дедушка обыкновенно объявлял, что мы, вероятно, все проголодались и потому он везет нас в кондитерскую Дубле, где угощал нас шоколадом и сладкими пирожками.

Существовали в это время в Москве и другие гулянья, которые предпринимались нами уже при более скромной обстановке, т.е. в собственных экипажах, но которые также были любимы москвичами и нами, молодежью, это: гулянья на Масляной и Святой по Подновинскому¹⁸ и, в Вербное Воскресенье, вдоль Тверской и Красной Площади; ездили по целым часам шагом взад и вперед, во-первых, потому что выезжала вся Москва и, во-вторых, потому что ездили с целью себя показать и других посмотреть.

На мою долю, как старшей внучки, (Надю Трубецкую¹⁹ часто увозили за границу) выпадали и некоторые обязанности, которые интересовали меня, подготавливая к дальнейшей жизни и развивая понятия об общественности. Дед Четвертинский, оставшийся католиком, несмотря на то что воспитывался с малолетства в России под надзором императрицы Екатерины Великой²⁰, очень любил, чтобы я сопровождала его к службам в католическую церковь, но посещал он службы не в польской, а во французской церкви, с настоятелем которой состоял в тесной дружбе. На мой вопрос, почему он, поляк, как будто избегает свою церковь, он мне ответил: «*Les prêtres polonais ne font que de la politique et moi je vais à l'église pour prier*»*.

Бабушка Четвертинская, принадлежа к обществу дам, имеющих доступ в тюрьмы, брала меня всегда с собой при их посещении, и мы проводили там часа три-четыре в опросах и разговорах с заключенными, которые, видимо, обожали бабушку за ее сердечное к ним отношение, за ее постоянное заступничество, за старание облегчить их

* Польские священники занимаются лишь политикой, а я хожу в церковь, чтобы молиться. (фр.)

участь и всякие мелкие услуги. Многих приходилось уговаривать, усовещевать или утешать; многим привозили мы священные книги и просто книги для чтения; с желающими читали Евангелие; привозили многим письма от родных и тут же писали под диктовку им ответы. Труднее было с политическими преступниками, которые, считая себя героями, с трудом нисходили к нам, грешным, придирались к малейшему неосторожному слову и очень боялись, чтобы мы как-нибудь не развенчали их величие и не упростили той роли, которую они играли среди сообщников и даже тюремной прислуги. Очень памятен мне случай, в котором приняла участие вся наша семья, с которым доходили до государя, который выказал свое обычное милосердие и тем, вероятно, спас от смерти два молодых существа. Раз приезжаем мы с бабушкой в тюрьму и заведующий докладывает, что за ночь привезли двух князей Четвертинских, которых посылают в Сибирь за то, что они в варшавской гимназии разорвали и попрали ногами портрет его величества. Мы немедленно прошли к ним в палату; увидели двух мальчиков 19 и 16 лет, которые простодушно повторили нам уже рассказанное нам тюремщиком. В это время государь Александр II²¹ находился в Москве, и бабушка объявила мальчикам, что она будет просить государя об облегчении им наказания. В тот же день бабушка была принята государем, который, выслушав ее рассказ и подумав несколько минут, объявил, что мальчики будут возвращены родителям, если подадут письменное заявление, что они раскаиваются в своем поступке, просят его прощение и обещают в будущем быть верными его слугами. Радостно вернулись мы в тюрьму и объявили мальчикам о царской милости. Мальчики, обрадованные и растроганные до слез, просили бумаги и перо и, получив все нужное, старший стал писать, но когда дело дошло до подписей, то младший остановил брата заявлением, что они не могут давать всех требуемых обещаний без разрешения матери. Послали депешу матери, и на другой день получили от нее запрещение подписывать «столь унижительный документ». Пришлось снова беспокоить его величество. Видимо взволнованный, государь стал ходить по кабинету и, наконец, остановившись перед нами, объявил, что простить совершенно он не может, ибо это послужит дурным примером для других, но что снисходя к юным летам преступников, они, вместо отправления в Сибирь в обществе других преступников, будут отосланы с фельдъегерем на Кавказ в Нижегородский полк, где их специально поручат полковому командиру. Так и было исполнено; Четвертинские хорошо чувствовали себя в полку, дослужились до офицерского чина, получили разрешение вернуться в свое волынское имение, и, когда им впоследствии случалось встречаться с членами нашей семьи, они заявляли, что лучшими годами своей жизни они считают годы, проведенные в полку на Кавказе.

Так жилось нам в Москве, так проходили тихо и спокойно год за годом, но... грянул гром и всполошилась Россия при известии, что против нас поднялась Турция с союзниками, и подстрекателями которой явились французы и англичане²², с завистью давно следившие за трудами государя Николая Павловича²³ по усилению Черноморского флота, укреплению берегов Черного моря и обращению с этой целью Севастополя в опору и ключ всех производимых работ. Борьба оказалась неравной, и Россия слишком неподготовленной к борьбе. В виду сильных потерь в войске заговорили о необходимости собрать ополчение, наскоро обмундировать, вооружить и обучить его и двинуть к Севастополю, вокруг которого концентрировалась вся борьба. Поднялись стар и млад: кто собирал деньги, кто кроил и шил, кто щипал корпию, кто поступил в сестры милосердия в образуемых повсеместно госпиталях, кто отправлялся на фронт, чтобы на месте помогать в перевозке раненых и уходе за больными. Помещики образовали из своих крестьян-добровольцев «дружины», вооружали и при помощи стариков военных обучали воинским приемам. Дети помогали в работе чем могли, а так как в городах не было почти дома, где бы не было несколько раненых или больных, за которыми бы не ходили и к которым не относились бы как к лучшему другу, к самому дорогому детищу, то и на их долю работы выпадало немало.

Но, несмотря на геройские подвиги нашего доблестного воинства, Севастополь пал²⁴. Не перенес этого удара государь и неожиданно скончался от разрыва сердца. Кажется, не забыть никогда того впечатления, которое произвели эти два события на наш дом, на родных и близких нам: все оцепенели, крестились, плакали; все замолкло в доме; дети, чуя горе, сбились в уголок учительской, не смея тронуться с места, испуганно посматривая на старших и понимая по-своему, что случилось что-то горестное, ужасное, неожиданное...

[Ш]

А время шло: старший брат, Борис кончил первым тогда еще семиклассную гимназию и поступил в артиллерийское Михайловское училище в Петербурге¹, а я заканчивала свое образование уроками истории культуры и искусства, которые преподавал мне Федор Иванович Буслаев², в высшей степени симпатичный и глубоко верующий человек, любящий и знающий Россию, ее дух, ее искусство; музыки — Николай Григорьевич Рубинштейн³, и французской литературы — известная в Москве преподавательница, m-me Pellan, которая во время уроков считала обязанностью развить в ученице серьезный взгляд на жизнь, на обязанности девушки — будущей жены и матери, на ее обязанности пред воспитавшей ее семьей, пред обществом и родиной.

В августе 1856 года назначается коронавание императора Александра Николаевича и семейное совещание решает, что, несмотря на мои только что наступившие шестнадцать лет, следует дать мне возможность присутствовать на всех торжествах, представлениях и балах, сопровождающих коронавание. Неизбалованная воспитанием, я приняла это известие совершенно хладнокровно, продолжала заниматься своими уроками и принятыми на себя обязанностями по отношению к младшим братьям и была всегда готова сопровождать Федора Ивановича в его посещениях древних московских храмов, где любезный учитель находил всегда икону или архитектурную подробность, которую считал необходимым показать в натуре и тем самым закрепить в памяти своей ученицы.

Только иногда при мысли о том, что вскоре увижу воочию всю семью царскую и смогу принять участие в торжествах, вызванных приездом их величеств в Москву и венчанием на царство престолонаследника того Государя, которого уважала и любила вся наша семья, воображению моему живо представлялся тот любовный, чисто материнский прием, который встретила я в царской семье года два тому назад.

Меня взяли в Петербург на свадьбу двоюродной сестры, Александровой⁴, и мать моя, бывшая фрейлиной императрицы Александры Федоровны⁵, воспользовалась этим случаем, чтобы просить представления у ее величества, которую не видела 16 лет, т.е. со дня своей свадьбы, после которой, как упомянуто выше, поселилась с мужем — моим отцом в Малороссии, где и жила безвыездно до переезда в Москву. Вдовствующая императрица весьма скоро и любовно приняла мою мать, урожденную Святополк-Четвертинскую, отец⁶ и семья которого были облагодетельствованы покойным государем, долго продержала ее у себя, расспрашивая о ее житье-бытье в Малороссии, о ее муже, о его занятиях как предводителя дворянства и помещика, о детях, о возможности их воспитания в глухой деревне и, узнав, что мать привезла с собой в Петербург старшую 14-летнюю дочь, потребовала, чтобы за мной был послан экипаж и чтобы меня привезли без всяких приготовлений, в том платье, в котором застанет меня посланный. Мать моя предложила поехать за мной, но императрица этому воспротивилась, говоря, что желает видеть, как я воспитана и как я справлюсь с тою неожиданностью, которая выпала на мою долю. Мать должна была покориться воле ее величества, наскоро написала несколько строк тете Александровой и отослала за мной карету. Тетя немедленно отправила меня со старушкой гувернанткой своей дочери, и меня привезли во дворец; гувернантку оставили в одной из гостиных, а меня лакей довел до покоев ее величества и, открыв дверь, доложил: «княжна Шербатова». Я остановилась у закрытой двери и оцепенела от страха и удивления: предо мной открылась роскошная

комната, которой я и во сне никогда не видала, а в глубине ее на кресле немолодая, но чудной красоты женщина в глубоком трауре. Стоя у дверей, я низко присела, но, когда послышался ласковый голос: «*Avancez, avancez, mon enfant*»*, я поняла, что предо мной Императрица, подошла ближе, присела еще раз и только тогда посмела решительно подойти к креслу, когда ее величество протянула мне руку. Я ее крепко поцеловала и, чувствуя, что императрица притягивает меня к себе, стала на колени и в слезах опустила голову на ее колени. Императрица, поняв мое смущение, гладила мои волосы, успокаивала меня и позвала мою мать, которой было приказано до моего появления уйти в соседнюю комнату. Успокоив меня своей лаской и похвалой, императрица стала мало-помалу расспрашивать меня об уроках, о сестре и братьях и, узнав, что я считаю своей обязанностью помогать гувернантке в ее воспитательной части, ласково подтрунивала надо мной, уверяя, что я, вероятно, очень строгая воспитательница. Обворожив нас своим обращением, императрица отпустила нас, запечатлев в моей душе вечную благодарность за столь милостивый прием, которым ее величество дала мне на всю жизнь пример того простого и ласкового обращения, которого следует придерживаться в наших отношениях к людям.

Весна и лето 1856 г. прошли в приготовлениях к коронаванию. Москва чистилась и красилась. Со всех сторон собираются дворяне; лучшие дома разбираются под помещения представителей иностранных государств, которые, видимо, собираются великолепием своего приема затмить своего соседа. Назначаются балы во дворце, в Дворянском собрании, у генерал-губернатора, в посольствах австрийском, французском и английском и пр.

Наступает день коронавания. Встает светлый, солнечный день; с раннего утра Москва на ногах. Гудят московские колокола, несметные толпы народа стремятся в Кремль, чтобы занять какое-либо место, чтобы хотя издали увидеть венценосного повелителя во всем его орнате**, присутствовать на его обходе Соборов, его появления на Красном крыльце⁷, с которого монархи имели обычай кланяться народу. Мы одеваемся, с трудом пробираемся в Боровицкие ворота, через толпу народа подъезжаем ко Дворцу⁸ и занимаем место в Александровской зале, предназначенной для городских дам. Но вот первый удар колокола; двери из Екатерининской залы широко растворяются, появляется царская семья в сопровождении блестящей свиты. Торжественно проходят они по залам, спускаются с Красного крыльца и направляются в Успенский собор⁹, где, в дверях, приветствует и благословляет ее московский митрополит Филарет¹⁰. Государь и госу-

* «Подойдите, подойдите, дитя мое» (фр.).

** Орнат (лат. *ornatus*) — в восточно-христианской традиции торжественное царское одеяние.

дарыня¹¹, царские дети, великие князья и княгини, часть свиты и представители сословий и народностей, вызванные в Москву, иноземные послы размещаются на приготовленные им места. Начинается литургия и акт коронации. Говорить обо всем этом не буду, во-первых, потому, что нам, простым смертным, не было места в соборе, а во-вторых, потому, что о коронации писано уже много и более подробно чем то, что я могла бы сказать.

Мы же спускаемся с Красного крыльца и спешим занять места на трибунах, устроенных между соборами, чтобы видеть государя после его помазания и присутствовать при его шествии в Архангельский собор и его поклоне народу с Красного крыльца.

Гудевшие колокола вдруг замолкают; притихает и опускается на колени толпа народа, теснящаяся вокруг соборов и трибун: это царь колено-преклоненно приносит обещание служить народу, своей родноплеменной родине. Помолится государь и над могилами своих предков, приложился к мощам царевича Димитрия¹²; при криках «ура» миллионной толпы, приветие всех окружающих и молитвенных возгласах народа, благословляющего помазанника Божьего, он восходит на Красное крыльцо, торжественно кланяется народу и возвращается во дворец.

Нескоро опомнились мы от всего виденного и прочувствованного, нескоро захотелось покинуть дивную и трогательную картину, нас окружающую; нескоро замолкли торжественные «ура»; нескоро тронулись толпы народа. Мы с трудом пробрались до парадной двери Дворца, разыскали свою карету и добрались до дома, тихо подвигаясь по улицам, заполненным народом.

Торжественно прошли все представления, приемы, спектакль в театре и балы, на которых, благодаря многолюдству, мало танцевали, но которые познакомили меня с тем, что принято называть «светом». Большим оживлением отличались балы во Дворце и в Дворянском собрании, которыми руководили и одушевляли великие князья Николай и Михаил Николаевичи¹³.

Настала зима и с ней визиты, знакомства, выезды и балы, которые поначалу меня очень пугали, но с шумом и блеском которых я скоро свыклась, которые полюбила, которыми увлеклась и вероятно потому была на всех них не последнею единицею. Этому я была обязана и тому обстоятельству, что мы, все выезжающие, очень скоро не только сошлись, но и со многими подружились, что помогло нам веселиться просто, откровенно, без всяких задних мыслей, но с одною мыслию веселиться ради веселья. На мою же долю выпало еще счастье принадлежать к семье, в которой старшие как-то особенно любовно относились к ее младшим членам, за которыми следили, восхищались их успехами в свете, кой-когда делали замечания, иногда подшучивали, встречаясь на балах имели всегда ласковое к нам слово и не раз

усаживались во время мазурки или котильона за спиной, не боясь быть мне неприятными и спугнуть моего кавалера. С восхищением и благодарностью вспоминаю в особенности о трех стариках дядях: князе Борисе Борисовиче Четвертинском, старшем брате моей матери, поэте князе Петре Андреевиче Вяземском, женатом на сестре бабушки Четвертинской, и веселом остряке князе Федоре Федоровиче Гагарине, брате той же бабушки¹⁴, который вообще любил и баловал всю нашу семью и как-то раз на вечеринке, лукаво подмигивая в мою сторону, предложил выпить шампанского «за того, кто любит кого», что долго осталось в памяти молодежи и часто повторялось при появлении шампанского. Впоследствии он познакомился и с мужем, оценил и полюбил его и до смерти своей остался нашим общим другом.

Сезон был блестящий, балы повторялись неустанно и были часто посещаемы молодыми великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами, которые придавали им своей веселостью большое оживление.

Стали возвращаться из ссылки декабристы и сделались любимыми гостями всей нашей знати; держались они приветливо и просто и видимо радовались тому, что их молодежь, родившаяся в Сибири, была ласково принята нами.

Появился среди наших кавалеров и граф Лев Николаевич Толстой, вернувшийся с Кавказа и уже создавший свое «Детство» и «Отрочество» и роман «Казачи»¹⁵. Он усердно танцевал, знакомился, ухаживал, носился сам с собой и искал везде и во всех, по собственному признанию, героев и героинь для будущих своих произведений. Много мазурок просидела я с ним, спорила без конца о его героях и героинях, о суете мирской, о призвании человека, о соблазнах, вносимых в народные массы нашею роскошью и балами, и... остаюсь при своем мнении, что у него на чердаке уже и тогда не все было в порядке¹⁶.

Ввиду полученного из Петербурга приглашения приехать на дворцовый бал и торжественное бракосочетание великого князя Михаила Николаевича с Ольгой Федоровной, принцессой Баденской¹⁷, мы отправились в Петербург, присутствовали на церемонии бракосочетания, торжественно отслуженной в церкви Зимнего дворца при массе придворных чинов и высшего петербургского общества, причем моей матери было сделано предложение разрешить мне поступить фрейлиной к молодой великой княгине, лестное предложение, от которого мать, однако, отказалась, указывая на мою молодость и светскую неопытность.

До начала бала мы с матерью были приняты в особом кабинете императрицей Марией Александровной. Ее величество весьма мило-стиво отнеслась к нам и, вызвав из залы цесаревича Николая¹⁸, поручила ему пригласить меня на первую кадрили и на мазурку, предста-

вить мне кавалеров и вообще озаботиться, чтобы петербургский бал и свет не показались мне скучнее московских.

Года два позднее стали высказывать опасение за здоровье цесаревича, за его легкие и увозили его несколько лет сряду в Ниццу, куда уезжала ради здоровья и императрица, его мать. Рассчитывали на молодость цесаревича, были уверены, что теплый южный климат возвратит ему силы и здоровье, и обручили его с датскою принцессой Дагмарой, которая приезжала в Россию, чтобы познакомиться с царскою семьею, сблизиться с будущим супругом и подготовиться к переходу в православие. Но Господь судил иначе: цесаревич все слабел, умирая, просил нареченную невесту остаться в России, полюбить и выйти замуж за его брата Александра¹⁹, у которого, как говорил умирающий, «сердце чисто как хрусталь». Царственный юноша погас, но высказанная им надежда осуществилась, и принцесса Дагмара, приняв православие, стала цесаревной Марией Федоровной²⁰, полюбила Россию и стала вникать во все нужды и пожелания своего нового отчества.

На этом поле деятельности познакомилась и я с ее императорским высочеством, которая, любя детей и озабоченная будущностью молодого поколения, приняла под свое покровительство Можайское благотворительное общество, о котором речь впереди, и не оставляла его своим вниманием до последней возможности.

В начале зимы 1857 года переселяется в Москву из Петербурга граф Алексей Сергеевич Уваров²¹, назначенный помощником попечителя Московского учебного округа, и поселяется в Мертвом переулке в большом особняке графини Толстой, напротив нас. О нем стали говорить как об ученом; называли его членом Академии наук и рассказывали, что император Николай Павлович по его докладу приказал образовать Комиссию для изучения памятников древности по побережью Черного моря, что им открыты близ Николаева развалины греческой колонии Ольвии и что им же произведены весьма важные для науки открытия в древнем Херсонесе²².

В первое время, занятый службою (становилось беспокойно среди студенчества) и переездом в Москву, граф мало кого знал, мало показывался. Но когда стал посещать балы и концерты, мало-помалу знакомиться с нами, молодежью, и оказывать мне внимание, то кумушки, в особенности мужская молодежь, заговорили и стали негодовать на приезжего петербуржца. Мне же, которая никогда не увлекалась зеленою молодежью и льстивыми ухаживаниями Льва Толстого, мне нравилась та ласковая осторожность, с которой подходил ко мне новоприезжий, которого, если он искал себе жену, пугали, вероятно, и моя молодость, и мое кажущееся увлечение балами и удовольствиями.

Раннею весной граф зашел неожиданно к нам, велел доложить о себе отцу или матери, которая и приняла его за отсутствием отца. Он извинился за беспокойство, но сказал, что считал своею обязанностью предупредить родителей о том, что он приказал арестовать одного из моих братьев за дуэль, предупреждая, что он не ранен и дрался за товарища, у которого не хватило храбрости этого сделать. Я присутствовала при разговоре, сидя за *chevalet** в ожидании учителя рисования²³; мы обменялись молчаливыми поклонами и только.

Весной выездной** графа, негр, перелез через решетку нашего сада и в виду прохожих поднес моей сестре розан. Отец пошел объяснить по этому случаю с графом, который немедленно приказал расчитать негра.

Ввиду того, что все чаще и больше стали говорить о намерениях графа, что он сам стал решительнее относиться ко мне, чаще разговаривать, моя мать осторожно и любовно обратила мое внимание на то, что граф не мальчик, что он, видимо, осторожно и осмотрительно подходит ко мне, чтобы познакомиться и дать себе серьезный отчет в том, может ли он без страха за будущность жениться на девушке гораздо моложе его. Мать просила и меня серьезно обдумать вопрос, **хочу ли я** принять предложение графа, **могу ли я** обещать быть ему хорошей верной женой **на всю жизнь**, не скучать без балов и удовольствий, которые уже не по летам, а главное, не по характеру графа. Мать просила серьезно обдумать все эти вопросы и, если не считаю возможным принять на себя все эти обязанности, то не давать графу своими к нему отношениями никакой надежды на мое согласие, чтобы отстранить всякую возможность ему делать формальное предложение, а нам ему отказать. Я сердечно поблагодарила мать за ее ко мне сердечное отношение и ответила, что, выросшая в многолюдной богобоязненной семье, я давно поняла, какие требования предъявляет нам жизнь, что граф мне нравится своей серьезностью и что я горжусь тем предпочтением, которое он мне оказывает.

Наступила весна; дом, в котором мы жили, стал настолько ветх, что пришлось искать квартиру и мы занялись переездом в дом князя Голицына в [...] переулке. Когда же братья покончили с экзаменами, мы переехали на лето в Филимонки, подмосковную [...] дедушки Четвертинского, куда два раза приезжал к нам граф на великолепных тройках и привозил персики якобы из своих оранжерей в селе Поречье²⁴ (впоследствии он сознался, что его персики спеют позднее и что он упоминал о Поречье только с целью заинтересовать им меня).

Раннею осенью мы вернулись в Москву для занятий братьев и стали чаще видеть графа, который приходил по вечерам сперва в сопровождении нашего общего приятеля библиофила Соболевского²⁷,

* Специально устроенный стол для рисования.

** Выездной лакей, стоявший обычно на запятках кареты.

а впоследствии и без него; засиживался все дольше и дольше, извиняясь иногда в том, что мешает своим посещением «княжне лишний раз потанцевать и быть украшением бала». Тогда возникали весьма дружелюбные споры; я доказывала, что люблю все, что делаю, делать хорошо, что на балах я не умею и не хочу скучать, что нахожу поэзию в больших освещенных залах, в хорошем оркестре, в увлекательном вальсе, то торжествующем, то ласково упоительном, но думаю, что и без меня бал может сойти так же весело, как и при мне. Граф уезжал довольный и веселый, прося всякий раз о разрешении вернуться тогда-то; я напоминала шутя: «только не в день бала», но он под конец решительно назначал день бала, вероятно, с целью помешать мне присутствовать на нем.

Осень стояла чудная, теплая, солнечная, и молодежь часто показывалась под вечер верхом в Петровском парке²⁶ в сопровождении отцов и братьев или более пожилых знакомых. Раз приехала и я в сопровождении старого друга моего отца, адъютанта графа Закревского²⁷. На одном из поворотов главной аллеи находилась дача графа Закревского, где он часто устраивал приемы и веселые танцевальные вечера. Оркестр трубачей при нашем проезде грянул какой-то марш; лошадь моя испугалась и взвилась на дыбы; я дала ей, по совету моего спутника, сильный удар между ушей; она опустилась, но, взбешенная ударом, бросилась вскачь по главной аллее, опрокидывая все и всех на своем пути. Я осталась на седле и, опомнившись, направила лошадь в одну из боковых аллей и, когда почувствовала, что лошадь пришла в совершенно спокойное состояние, привела в некоторый порядок волосы и повернула в сторону главной аллеи, чтобы разыскать растерянные вещи и найти своего спутника. Ко мне навстречу бросилась вся молодежь, поздравляя с удачей, поправляя седло и возвращая подобранные мои вещи. Последним подошел граф с моей шляпой в руках. Подавая ее мне, он взволнованно и сурово вскричал: «Что за ужас, никогда не позволю моей жене ездить на подобных бешеных лошадях». — «Надеюсь, граф, — сказала я ему в ответ, — что Вы будете более ласковым голосом обращаться к жене вашей, если пожелаете, чтобы желания Ваши были исполнены». Он подошел ближе и, сняв шляпу, тихо проговорил: «Извините меня, княжна». Покатавшись в парке еще некоторое время, мы шагом направились к выходу, около которого, видимо, поджидал меня граф. Поравнявшись со мной, он просил разрешения прийти к нам вечером, но я отказала ему в этом, говоря: «Вы расскажете матери моей Ваши сегодняшние впечатления, расхулите мою лошадь, а я мечтаю воспользоваться теплой осенью, чтобы еще много раз на ней покататься. Приходите лучше завтра». Он молча поклонился и отошел. На другой день он просидел у нас до двенадцати часов, но ни словом не затронул происшедшего накануне.

26-ого ноября граф прислал матери моей записку, прося разрешения зайти к нам днем. Приехал около трех часов и просил мою руку. Поговорив с матерью, он просил позволения наедине переговорить со мной. Говорил о себе, говорил, что он гораздо старше меня, не любит свет, занят наукой и боится, что его привычки и жизнь могут показаться трудными и скучными молодой девушке, как я. Я откровенно ответила, что его полюбила за то, что он серьезнее других, что я обещаю быть ему не только хорошей женой, но, если он позволит, то и помощницей. Родители нас благословили, и граф стал просиживать у нас по целым дням, желая, вероятно, немедленно определить, в чем именно могу я ему помогать. О себе рассказывал, что в семье он рос почти одиноким, так как старшая его сестра Александра была на 10 лет, а младшая Наталья на 6 лет старше его²⁸; что отец, президент Академии наук и министр просвещения²⁹, хотя и был очень занят службой и научными трудами, но все же отдавал много времени воспитанию и образованию единственного сына, в котором надеялся найти достойного себе наследника. Мать же его, графиня Екатерина Алексеевна Разумовская³⁰, обожала своего сына и, выдав дочерей замуж, посвятила ему жизнь, ездила часто с ним за границу и, как видно по приобретенным ею в это время акварелям, рисункам и картинам (большая часть которых у нас сохранилась), старалась уже в ребенке развить вкус к изящному, к красоте природы и даже к древностям (сохранились статуэтки, мраморные и терракотовые головки, куски разноцветного мрамора, из которых по возвращению на родину делали столы и пр.) И мать и отец поддерживали в сыне любовь к занятиям, и он смолоду, находясь в кругу ученых, невольно втянулся в их работы и, будучи еще студентом, принял живое участие в основании Петербургского нумизматического общества, развившегося впоследствии в Императорское Петербургское археологическое общество³¹. Мать скончалась в 18[49] году; дом опустел, но направление и занятия остались те же. Окончивши Петербургский университет, граф отправился за границу и прослушал лекции в Берлинском и Гейдельбергском университетах; впоследствии ездил за границу с отцом и принимал участие в раскопках в Помпее на участке, подаренном отцу Неаполитанским королем, в котором добыта великолепная голова Зевса, которая и поныне украшает письменный стол отца в Поречье.

С особым чувством говорил граф о своем дяде, Федоре Семеновиче Уварове, произведенном за храбрость в генералы на Бородинском поле. Федор Семенович покинул службу после изгнания неприятеля и поселился в своем смоленском имении Холм, где занялся ботаникой, имел хорошую оранжерею, растил чудные кусты камелий, культивировал и вводил в русскую флору разные иноземные растения (до сих пор растет и приносит плоды в холмовском парке ореховое дерево, им посаженное) и часто наезжал в Поречье, где занимался разбив-

кой парка и насаждением тех великолепных экземпляров лип, пихт и пр., которые служат украшением порецкого парка. Федор Семенович очень любил жену брата и его единственного сына; ему, вероятно, обязан племянник тою любовью к природе, которая в нем так сильно была развита.

На мои вопросы о текущих его занятиях он просто, без всякого желания порисоваться, рассказывал, каким образом, изучая источники, он напал на мысль о необходимости обследования и серьезного изучения берегов Черного моря, как удачны были его раскопки в Ольвии и Херсонесе и как важны подобные работы для истории России. Рассказал, как проживая в своем муромском имении, он, охотясь в долине реки Оки, напал на древние могильники, нашел в них следы особой, пока неизвестной культуры, что он этими раскопками так увлекся, что обследовал всю Владимирскую губернию, раскопал до 7000 курганов, и, ввиду того что по летописям и преданиям известно, что в этой местности сидела «меря», он находит возможным признать эту культуру за «мерянскую» и что он об этом пишет исследование³².

Рассказал, как впоследствии он образовал из своих муромских крестьян дружину в помощь севастопольским героям, вооружил их, вызвал инструкторов и вместе с крестьянами обучался военному искусству, и потом, командуя Владимирской дружиной³³, вместе с князем Григорием Щербатовым³⁴ они отправились в поход, но в Курске узнали о падении Севастополя и получили приказание вернуться обратно.

Ввиду того, что свадьба наша была назначена на 14 января, то за неделю до Рождества мать моя предложила графу уехать на четыре дня в Сергиево-Троицкую Лавру и там вместе с нами по обычаю поговорить. Тогда еще не существовало между Москвой и Лаврой железнодорожного сообщения, и потому мы уехали все вместе в одной широкой поместительной кибитке на почтовых, которые морозным утром в три часа доставили нас в Сергиевский Посад. Остановились мы все в одной и той же и тогда единственной монастырской гостинице. Усердно ходили к службам, исповедовались у отца Авраамия, которого знали уже несколько лет и который ласково напутствовал нас обоих на новую открывающуюся перед нами жизнь. Венчание наше состоялось 14-ого января в домашней церкви княгини Репниной³⁵ на Садовой, единственной родственницы моего жениха и сестры его матери, Екатерины Алексеевны Уваровой, после чего мы поселились в доме княгини Шаховской в Газетном переулке, где и провели месяц до отъезда за границу.

Тут же немедленно пришлось познакомиться с делами мужа; их было много и хватало не только ему самому, но и секретарю, Александру Матвеевичу Лазаревскому³⁶, и главному управляющему Семену Ивановичу Черноголовкину, и даже управляющему канцелярии по-

печителя, которому муж сдавал дела³⁷ по занимавшейся им должности попечителя Московского учебного округа.

Усложнилось дело решением мужа переехать после заграничного путешествия в Москву, что вызвало желание продать петербургский дом и указание на осторожное отношение к упаковке и перевозке находящейся в доме археологической коллекции, музея, библиотеки и всей обстановки в село Поречье, где предполагалось основаться по возвращении в Россию. Давалось распоряжение перевести туда же всю нашу обстановку из дома, устроенного мужем для свадьбы. Ввиду продолжительности предполагаемого отсутствия из России велись серьезные разговоры и подсчеты с С.И. Черноголовкиным, человеком, служившим еще при свекре, видимо очень преданным мужу, не скрывавшим своей радости нашему бракосочетанию и относившимся ко мне с большим вниманием, даже любовью. Он тогда же рассказал мне, как муж водил его в наш общий приход, церковь Успенья на Могильцах, показать ему меня и узнать, какое я произведу на него впечатление.

В это же время часто видела и к ним привыкла петербургских друзей мужа братьев Жемчужниковых, Алексея и Владимира³⁸, которые заезжали по вечерам, вероятно для того, чтобы посмотреть, как живет мужу при новой обстановке и с незнакомой им женой.

Во второй половине февраля мы выехали из Москвы по дороге в Варшаву в дормезе*, приспособленном к дальнему путешествию, т.е. с выдвигаемыми передками, образующими постели для ночи, с сундуками, кабурами и разной посудой для останковки. Ехали весело, довольные своим одиночеством, делали разные планы по ознакомлению с художественными сокровищами Запада и, кажется, гораздо ближе познакомились за эти несколько дней путешествия, чем за полтора месяца пребывания нашего в Москве. Стояла довольно холодная и снежная зима; мы ехали в шубах и на полозьях, но в Малом Ярославце, где мы ночевали, полозья были заменены колесами. В Варшаве остановились на два дня, чтобы отдохнуть, осмотреть город и отправить обратно в Москву нашу зимнюю одежду, так как в городе застали уже совершенно теплую весеннюю погоду.

Прелестною долиною Одерберга доехали до Вены, где остались недолго по случаю дурной холодной погоды, и выехали из Вены под вечер с расчетом увидеть Адриатическое море при первых лучах солнца. Переваливаем Земеринг; горы покрыты глубоким снегом; он исчезает по мере нашего спуска с гор, и при восходе солнца пред нами открывается чудная картина — ярко-синяя, играющая на солнце полоска Адриатического моря. В Триесте пересаживаемся на пароход, вот наконец и Венеция. Нет, кажется, картины более величествен-

* Дормез (от фр. *dormeuse* — соня, сонная) — карета, оборудованная для сна и отдыха.

ной и красивой, как вид на Венецию, когда подъезжаешь к ней с моря и пробираешься по лагунам: вот влево остров с церковью S. Giorgio Maggiore; пред нами площадь S. Marco, окаймленная со всех сторон величавыми мраморными зданиями и дворцами, а там далее и начало Canale Grande. Что-то сказочно величавое, принадлежавшее одной Венеции, веет от этой картины, воскрешая в вашей памяти всю историю этой некогда царицы морей: ее возникновение под видом римской колонии, дальнейшее ее развитие под эгидой Византии и всего Востока, ее торговли и могущества, ее борьбы с генуэзцами за влияние над Черным морем, ее торговли и фактории на юге России и даже на Кавказском побережье и, наконец, полное торжество и развитие власти, богатства и славы в XV—XVI ст., привлекавшее лучшие художественные силы Италии на украшение ее дворцов и храмов.

Останавливаемся в гостинице Даниел по соседству с великолепным по своему величию бронзовым изображением Бартоломео Коллеони работы Вероккио³⁹, и все дни проводим на площади Св. Марка или в гондоле. Наслаждаемся жизнью, ходим, смотрим, любимся и... чудится мне иногда, что это сон, за который я мысленно глубоко благодарна мужу, который видимо и сам наслаждается моей радостью, моим вниманием ко всему нас окружающему. Как ученый и археолог он незаметно руководит моим вниманием, останавливая его на более выдающихся зданиях, их архитектурных подробностях и объясняя причины тех разнородных и разновременных влияний, которые вызвали во мне замечания, что Дворец дождей в разных его частях (например фасад со стороны Св. Марка) и некоторые дворцы по каналам (дворец Фарсети, Лоредан, Фондаки де Турка, Ко д'Оро и многие другие) построены в каком-то непонятном «смешанном стиле». Храм Св. Марка привлекает особое внимание мужа, который видел его уже не раз, но, занимаясь византийским искусством, всегда находит новые подробности, новые замечания, которые заносит в свой дневник⁴⁰. Посещаем мы храм почти всякий день, и я должна сознаться, что это совершенно не лишний труд, так как даже после московских древних соборов Св. Марк представляет много интересного и поучительного не только занимающемуся учеными исследованиями, но и простому посетителю, как я, знакомая до сих пор только с русскими храмами и их архитектурой, которую считала до сих пор произведением «чисто русского дела и духа». Храм Св. Марка воздвигался, строился, перестраивался и пристраивался также в продолжении нескольких столетий. Основание его было заложено в IX веке, когда мощи Апостола Марка были перевезены из Александрии; существующую же форму, размеры и богатое убранство он получил только в XI веке, когда был построен и Дворец дождей. На мои расспросы касательно древности различных частей и деталей храма муж указал на части, имеющие большие сходства с нашими храмами и принадлежащие к

более древней византийской архитектуре, и пояснял, каким образом впоследствии под влиянием позднейших итальянских мастеров, приглашаемых для реставраций и починок, храм невольно преобразился и получил новые формы, орнаменты и украшение.

Кроме храма Св. Марка, мы осматривали и другие церкви Венеции, отличающиеся все особою роскошью, богатством орнаментов и росписью лучших мастеров Италии. Вспоминаю в особенности одну из них — церковь Св. Себастьяна, которая почти вся расписана Павлом Веронезе⁴¹. Начал он работать в ней в 1555 г., еще мало известным мастером; в 1556 г. расписал плафоны и своды церковными сценами из жизни Эсфири, которые окончательно закрепили за ним признание одного из талантливейших художников того времени. В 1560 г. после многих работ в дворцах Венеции и других городов северной Италии, он вернулся в Венецию и разукрасил стены своего возлюбленного храма сценами из жизни Св. Себастьяна. Позднее еще раз украшал своими произведениями Дворец дождей после произошедшего пожара, а в 1588 г. сильно простудился и скончался 60 лет от роду и похоронен в Св. Себастьяне, где над могилой ему возведен памятник.

Особенную прелесть представляет расположенная напротив храма Св. Марка низкая художественная пристройка к кампанилу* работы Якопо Сансовино с рельефными изображениями из белого мрамора⁴².

А что сказать про Дворец дождей с его внешнею восточно-средневековою архитектурою и внутренними залами и покоем, разукрашенными кистью лучших итальянских художников. Для меня это сказка из сказок, чудный сон, в котором не разбираюсь, но память о котором сохранию на всю жизнь.

По вечерам снова садились в гондолу и при лунном свете катались по каналам, наслаждаясь сказочною прелестью окружающего нас мира. Одна из таких прогулок особенно сохранилась в моей памяти: сели мы в гондолу с тремя гребцами (чего обыкновенно не бывает); отъехавши от берега, они запели, им как будто отвечая, послышалось пенье на канале Гранде, и чем далее мы подвигались, тем пень, то приближаясь, то удаляясь, наполняла воздух мягкими гармоническими аккордами итальянского напева. Пробыли мы на каналах дольше обыкновенного и вернулись домой в сопровождении значительного числа гондол, освещенных разноцветными фонарями. Так праздновал муж приезд наш и занятия в прелестной Венеции.

Из Венеции проехали в Геную, а оттуда морем в Неаполь. Погода была дивная, жаркая, солнечная и переезд совершился вполне благополучно. Неаполь представился с моря во всей своей красе, с дымя-

* Кампанила, campanile (ит.), кампаниль — башня, колокольня, круглая или четырехугольная, обычно стоящая отдельно от храма.